

ТУГА КАЗАЦКАЯ

Анастасия П.



Анастасия Погорелова

Туга казацкая

«Автор»

2026

Погорелова А.

Туга казацкая / А. Погорелова — «Автор», 2026

Казак Григорий с детства чувствует себя чужим среди своих — слишком сильно в его чертах проступает татарская кровь матери. Когда любимая девушка Оксана оказывается связана долгом перед семьёй сотника, Гриша принимает решение уйти на Сечь за военной добычей. Однако вместо славы и дувана его настигает горькая весть из дома, которая перечеркивает всё, ради чего он жил.

© Погорелова А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая "Земля"	5
Часть вторая "Огонь"	26
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Анастасия Погорелова

Туга казацкая

Часть первая "Земля"

Вишнёвый сад.

В первый раз они побились из-за малины. Ивану было девять, Гришке — восемь. Куст рос у оврага, ягода была спелая, красная, и оба вцепились в неё, не думая о колючках.

— Я её увидал! — кричал Иван, молотя Гришу кулаками по спине. — Моя малина!

— Она ничья! — кусался в ответ Гришка.

Отец Ивана, сотник Кондрат Швайка, разнял их тогда, как щенков, и сказал: «Вырастете — будете биться за другое», — и не соврал. В пятнадцать они подрались уже всерьёз, до крови, и никто их не разнимал. А вечером Григорий с Иваном сидели на берегу, сплёвывали кровь в Дон и хохотали. И до того, и после того они дрались часто. Бились — и мирились, снова бились.

Так и шло их детство — в синяках, ссадинах и крепкой, как дубовый сук, привязанности, что держала их вместе, сколько Гриша себя помнил.

А помнил он и другое: с самого детства его дразнили «татарчонком». Не со зла — так, по правде. Мать у него была татарка, взятая в когда-то давно в полон, а лицом он пошёл в неё: скулы широкие, глаза и волосы чёрные. Сам он этого не любил, но молчал. Молчал и тогда, когда за спиной шептались: «Кровь чужая». Но от наивных девок отбоя не было: для них он был настоящим красавцем, необычным. Хоть в Швайкином городке таких чернявых, как он, и было вдоволь, Гриша отличался каким-то, кажется, особым шармом. Взрослые про него шушукались, девушки обожали, парни желали помериться с ним силами. И при всём этом верным другом ему оставался лишь Иван Швайка. Он мигом затыкал неудобные рты. Там, где Гриша предпочитал смолчать, он говорил прямо, а от особо настырных требовал сказать в глаза, что Григорий «чужой».

Было Ивану и Гришке по семнадцать лет, когда третьим в их компании объявился Петька Ермаков — самый младший, четырнадцати годков от роду. В ту пору, когда Григорий с Иваном уже вовсю стучали друг друга кулаками, Пётр ещё держался за мамкину юбку, да сухари грыз. И хлопот от него было куда больше, чем проку. Вдовая мать его, Анисья, спуску сыну не давала: чуть что — за уши таскала, а то и хворостиной охаживала, стоило ему хоть на шаг отступить от плетня. И двум старшим дочерям наказывала глаз с него не спускать. Да только Петруху будто за ворот тянули к старшим парням. Чуть мать зазеваётся, а он и сбежит. Правда, потом гнали беглеца домой, пороли по мягкому месту, а он ревел, да всё без толку.

Гриша с Иваном посмеивались над ним, а Швайка ещё и злился:

— Чего ты шастаешь за нами? — цедил он, но Петя упрямо не отставал.

Как-то раз Иван решил попытать удачу и сесть на молодого необъезженного жеребца из табунов его отца-сотника. Пётр появился рядом — тут как тут.

Загон был старым, из толстых жердей. Гриша стоял снаружи, опершись на верхнюю перекладину, жевал травинку и смотрел, как расхрабившийся Иван идёт к молодому жеребцу. Тот тревожно всхрапывал в дальнем углу, закладывал уши и бил копытом в утопанную землю.

— Ну, чего застыл? — Иван обернулся к Петру и бросил ему узду. — Держи уздечку. Потом подашь, когда я его к воротам подгоню.

Пётр стоял у самых жердей, бледный, с круглыми от страха глазами. Он неуклюже поймал уздечку, сжимая ремни так, будто их могли силой вырвать. Грише было всё равно. Пусть малец хоть уздечку держит, лишь бы под ногами не путался. А может, от страха и вовсе убежит к мамке.

Иван, не дожидаясь, пока конь привыкнет, сгрёб жеребца за гриву. Тот взвился свечкой. Иван — дурак, но сильный — удержался, сжав бока лошади коленями. Но жеребец пошёл вбок, потом резко встал на дыбы и, мотнув головой, сбросил его наземь.

Григорий дёрнулся было к нему, но Иван сам поднялся, грязно ругаясь, отряхнулся. Лицо у него было злым, даже бешеным. Жеребец же, обезумев, понёсся вдоль ограды, ударил грудью в жерди — раз, другой. Старое дерево хрустнуло, верхняя перекладина надломилась. Конь вырвался.

Гриша отшатнулся прочь. Иван только и успел крикнуть, а жеребец вылетел наружу, сминая всё на пути, и прямо под его грудью оказался Пётр. Тот так и стоял, оцепенев, прижимая к себе уздечку.

Оба рванули к нему. Пётр лежал лицом вниз, тихо стал подвывать, когда его чуть подняли и усадили. Его трясло. Одной рукой он держался за левый бок — там, где пришёлся удар лошадиной грудью. Штанина на колене была порвана, сквозь прореху виднелась содранная кожа.

В этот момент где-то за их спинами послышался скрип телеги. Из-за поворота, лениво понукая каурюю лошадку, выехал местный парень Степан. На телеге лежало сено, поверх него дерюга. Степан ехал не спеша, жмурясь от солнца, и, только приблизившись, заметил их.

— Чего это у вас тут? — спросил он, натянув вожжи.

— Жеребец сорвался, — сказал Гриша, выпрямляясь.

Степан вздохнул и спустился с телеги. Годов двадцать было ему. Нравом спокоен, не по годам разумен. Волос тёмно-русый, в мелкую кудрявинку, глаза голубые, а под носом уже темнел ус — Гришка с Иваном о таком и мечтать не смели. Роду Степан был не казачьего: сын рыбака.

— Ну и ну, — сказал он тихо.

Он осторожно поднял Петю на ноги, но того повело в сторону. Степан без лишних слов подхватил его, как пацана малого, и уложил на телегу, на сено.

— Домой его отвезу. Скажу Анисье, что глупый чуть не угодил под мою телегу. А вы пока жеребца ловите. Уйдёт дальше, потом замучаетесь искать.

С этого и началась их неровная дружба вчетвером. Иван долго ещё держался особняком, Гриша тоже. А Пётр, как ни странно, стал ходить уже не следом, а рядом. И его больше не гнали.

Одним вечером, когда работа в поле со старшими была кончена, Гриша и Иван пробрались к покосившейся избе деда Кузьмы. У него, обнесённая тыном, стояла богатая раскидистая вишня, чьи ягоды уже поспели на летнем солнце. Нащипали они тайком вишни, а потом сидели рядом на траве и в шутку плевались косточками друг в друга.

— Э, гляди-ка, — шепнул вдруг Ваня и будто ниже к траве пригнулся.

Григорий обернулся и увидел девушку. Он сразу признал её: то была Оксана, дочка бондаря — того самого, что ладил бочки, кадки да шайки и дерево понимал, как живое. Пригожая, румяная, вечно в своём платочке, повязанном на голове. А коса у неё русая, длинная — до самой талии.

Подошла она к избе деда Кузьмы, постучала. Чуть погодя вышел старик. Попросила Оксана немного вишни, и он нарвал ей добрую горсть — не поспешил. А потом Оксанка заметила Ивана с Гришей, улыбнулась лукаво и пальцем на них указала. Дед Кузьма вмиг завёлся:

— Вот я вас поймаю!

Оба сорвались с места. И тут Оксана залилась смехом, да так громко и звонко, что Иван на мгновение замер, бросил на неё быстрый злой взгляд и пустился прочь.

Конечно, дед Кузьма никого ловить и не думал, но оба они, мокрые, загнанные, как кони, добежали до Швайкиной избы, едва переводя дух.

— Видал её? — спросил Иван, когда перестал хватать ртом воздух.

— Видал.

Изба у Шваек была справная, большая, на вид — настоящая крепость. Гриша всякий раз невольно залюбовывался ею, проходя мимо или, как сейчас, стоя рядом. Добротный дубовый сруб, высокая подклеть, просторное крыльцо под навесом. Крыша крыта камышом, а за домом — широкое гумно с хозяйственными постройками: вместительная конюшня, добротный хлев. Не чета небольшой избе, где ютились сам Григорий с отцом и дедом.

Хоть бы ненадолго попасть внутрь — всё осмотреть, обойти двор, заглянуть в конюшни, полюбоваться выносливыми конями разных мастей. Гриша уже не раз видел у Шваек за работой чур — старого пленного ногойца, помогавшего по хозяйству, и женщину средних лет, лицом похожую на татарку. И пусть сотник не колотил их, давал крышу над головой и пищу, Грише всегда было жаль их — одиноких, на чужой земле. Может, и у них остались где-то семьи, дети, родители, братья или сёстры, а теперь — ничего, кроме работы от зари до зари.

Иван всё хмурился, глядя в сторону дороги, на вишнёвый сад, откуда они только что бежали.

— Мой отец рассказывал, что вашей избе больше ста лет, — заговорил Григорий, когда отдышка отступила.

— Не избе, а этому месту, — поправил Иван. — Его основал ещё мой прадед. Сначала — он, а после к нашему зимовнику прибились и другие. Так и появился Швайкин городок. — Он сплюнул. — А ну её, пусть в огне горит эта изба. Зайдёшь, может? Воды испить.

Самого сотника на месте не оказалось, но Григорий не знал, кого боялся бы больше — Кондрата Швайку или его жену Устинью, которую местные за глаза звали Швайчихой. То была женщина видная, пухлобокая и до нельзя вредная. Гриша вслед за Иваном зашёл во двор под лай псов, поднялся по ступеням на террасу и оказался внутри, замерев на пороге. Устинья вместе с чурой — молодой женщиной-татаркой — хлопотала по дому.

— Мать, дай воды холодной, — попросил Иван, хмурая брови точь-в-точь, как его отец.

Устинья обернулась на них, упёрла руки в боки.

— О, явился, блудный сын бедной матери. Отец спрашивал тебя да не дождался и уехал. — Тут она заметила Григория рядом и налепила на лицо улыбку. — Здравствуй, Гриша. Чего стоишь в дверях? Проходи.

Григорий молча кивнул ей. И вроде не бил никто, не гнал, а сердце заходило таким стуком, что его, казалось, все слышали.

Иван по-хозяйски стал заглядывать в горшки и чугунки, успел стащить со стола кусок хлеба и пихнуть его себе в рот.

— Может, молока хочешь? — спросил он, пережёвывая.

— Нет, спасибо. Только воду, и пойдём.

Наконец Ивану подали ковш, он припал к нему, сделал несколько крупных глотков и передал Григорию. Гриша глотнул раз, глотнул второй — и вдруг резко вдохнул и закашлялся, пролив на себя воду. Швайка похлопал его по спине и, не сказав ничего матери, вышел с ним на улицу.

Отказ.

Было тогда младшему Швайке двадцать лет, когда отец стал давить на него с расспросами о женитьбе. На Ивана многие девушки заглядывались, только он никого не видел. Устинья во всём сына поддерживала, говорила: рано нам ещё невест, будет время.

На дворе начало осени, работы вдоволь, Иван пропадал и брался за всё, что только можно было, лишь бы не сидеть дома с матерью, которая душит, и с отцом, который твердит, что пора взрослеть. Сбегал он и к дядьке Фролу: у того дома было поспокойней. Жена — добрая женщина с большим сердцем, сам дядька тоже словом не обидит и не упрекнёт, а наоборот, даст совет и поддержит в случае чего. Но стоило Ивану переступить порог его дома, он замечал, как дети Фрола, Дарья и Минай, от страха перед бешеным Швайкой либо сидят в углу тихонько,

либо скорее уходят на улицу. Из-за этого Иван не то, чтобы злился — он свирепел, жаловался один на один дядьке:

— Чего они шарахаются от меня, будто я чужой?

— Характер у тебя, Иван, не простой, а Минай и Дарья тихенькие у меня, — отвечал дядька Фрол. — Ты не дави на них, а лучше в следующий раз принеси какой-нибудь гостинец.

Дарья была младшей, девчушкой одиннадцати лет. В следующий раз Иван, как пришёл, настойчиво и грубо вложил ей в руку красные блестящие бусы из дерева, а она сразу убежала. Ивану хотелось погнаться за ней, схватить и отругать: свой я, родня твоя, чего ты меня боишься, дура? Но ничего дурного в доме Фрола не делал.

Часто стал появляться перед Григорием и Петром в пьяном виде, бродил, где придётся, допоздна, пока в один из дней не встретил поздним вечером Оксану. Что делала она в такой поздний час на улице, Иван не знал, да и знать не хотел. Но двигалась осторожно к дому, дразня своими шагами чужих собак.

Про себя Иван чертыхнулся на неё, но тут же будто бы протрезвел и позвал:

— Оксана, погоди.

Она остановилась и дождалась, когда он подойдёт к ней.

— Чего так поздно тут делаешь? Не боишься?

— Не боюсь, — ответила она, обняв себя руками, на улице было прохладно.

— Давай хоть провожу тебя, чтоб ни одна скотина не пристала.

— Ну проводи, коли хочется.

Молча они шли к её дому. Иван шагал на расстоянии, посматривая на неё. Даже в темноте видел её длинную косу, переброшенную через плечо, округлые щёки, пухлые губы. Вспоминал, как она в прошлом смеялась над ним и Гришей, когда видела, как те удирают из сада, своровав вишню. Он тогда разозлился на её глупый смех и обозвал дурой, но вдруг захотел услышать, как она смеётся вновь.

— Помнишь, как мы с Гриней уносили ноги от вишнёвого сада? Ты тогда выдала нас.

Она, видимо, вспомнила и тихо посмеялась. И у Ивана потеплело и защекотало в груди.

— Зато отвадила вас надолго воровать.

Проводив её до дома, Иван перегородил ей путь и усмехнулся, расставив руки в стороны.

— Слушай, Оксанка, а что, ежели я женюсь на тебе, а?

Оксана мгновение помолчала, а затем рассмеялась громче.

— Ты? На мне? Будет тебе, Иване, словами такими разбрасываешься.

— Почему это разбрасываюсь? Али не пригож я? Всё при мне, всё могу. И тебя не обижу, будешь жить хорошо.

— Ты пьян, сотников сын, — уже серьёзней возразила она.

Иван нахмурил брови:

— Я не только сотников сын, — сказал он уже без улыбки или смешка. — Я просто Иван Швайка. И не гляди, что пьян, слово моё твёрдое. Ну так что? Пойдёшь за меня или как?

— Вот когда от Ивана Швайки перестанет нести брагой, тогда я и дам ответ, — ответила Оксана, хихикнула и быстро ушла к себе.

А Иван ещё долго стоял на том месте, чуть качаясь от слабости в ногах и соображая, чего он ей только что наговорил. А потом всё же не мыкался всю ночь, где придётся, вернулся домой и с порога, ещё пьяный, заявил отцу, что женится.

— Да не рано ли о таком-то думать? — взмолилась Устинья, придерживая сына под руку и провожая его к столу, за которым сидел хмурый Кондрат.

Но Иван оттолкнул мать и громко заявил:

— Не рано! Мужик я или кто?!

Кондрат на это дело посмеялся:

— Мужик. Как приведёшь жену в дом, бесшабашность свою поубавишь, тогда и поговорим, мужик ты или нет.

На следующий день, протрезвев, Иван проснулся рано, с чистой головой и чувством внутри, что он может в одиночку передвинуть гору. Он пригладил волосы, омыл лицо холодной водой. Оделся чисто, как и подобало казаку, идущему к девушке с серьёзным словом. Рубаху надел льняную, хорошо отбелённую, с косым воротом и мелкими оловянными пуговицами. Сверху накинул зипун синего сукна — не новый, но опрятный. Подпоясался простым ремнём из тёмной сыромятной кожи с железной пряжкой. К нему на коротком ремешке был приторочен нож в чёрных ножнах, а саблю он приладил слева, на отдельный узкий ремешок, чтобы не мешала.

Сапоги на нём были чёрные, юфтевые, вычищенные, но без щегольства. Шапку надел овчинную, чёрную, невысокую.

Ни серебра, ни цветной обуви, ни шитого пояса он брать не стал. Пусть смотрят не на отцово добро, а на него самого — решил он так. Вывел Серко из конюшни и уехал на нём к Оксане, зная, что застанет её до выхода. Так и случилось. Она, с тростинкой в руке, гнала свою чёрную корову на выпас, когда Швайка подъехал к ней. Серко под ним плясал, и сам он был хорош собою, он видел, как Оксана, глядя на него снизу-вверх, приоткрыла рот.

— Помнишь, что я тебе вчера говорил? — спросил Иван серьёзно.

— Вижу, проспался, сотников сын, — усмехнулась Оксана. — Я думала, что ты и сам всё забудешь, что было вчера.

— Нет, не забыл. Я сватов к тебе зашлю, Оксана, как и говорил. Женой моей будешь.

Оксана, подгоняя корову, расхохоталась звонко.

— И не смейся надо мной, глупая, — разозлился Иван. — Посмотрим, кто ещё смеяться станет.

И, ударив коня пятками в бока, Иван ускакал от неё прочь.

Вечером же, супротив воли вредной матери, Иван заслал к Оксане сватов: пошли на то дело дядька Фрол, дед Игнат и тётка Акулина. Устинья никак не одобряла выбор сына, причитала до поздней ночи. Кондрат же говорил сыну: быть может, в семейной жизни-то уму-разуму наберёшься. А Иван ждал возвращения сватов, про себя уже планируя, когда можно будет справить свадьбу.

А следующим днём весь городок облетела весть, как Оксана отказала самому Ивану Швайке в сватах. Дядька Фрол, дед Игнат и тётка Акулина вернулись ни с чем, и на это Кондрат только покачал головой, а Устинья принялась бранить Оксану самой разной бранью, которой Иван до того не слышал от неё. Сам же он впал в ярость, начав швырять дома глиняные горшки и кричать, но отцовская затрещина мигом вразумила его. Ночью младший Швайка почти не спал, полнилась злобой его голова, болевшая так, что готова была будто бы лопнуть.

С Григорием свиделся лишь позднее и обомлел от того, что рядом с чернобровым вертелась и Оксана: они шли мимо, о чём-то разговаривали и пересмеивались, а когда поравнялись со Швайкой, взяли друг друга за руки.

Иван думал, что прямо здесь набросится на Гришу и поколотит, но сдержал свой гнев, насильно заложив руки на груди.

— Здравова, Иван, — улыбнулся Григорий, прищутив свои тёмные глаза. — Вот уж не думал, что такому, как ты, в сватовстве откажут. Видно, не приглянулось Оксане твоё вечно недовольное лицо.

Оксана и Гриша засмеялись, а Ивану было вовсе не смешно.

— А твоё лицо, видать, приглянулось? — съязвил он.

Они быстро расцепили руки. Оксана, улыбаясь, раскраснелась, попрощалась с обоими:

— Не сердчай, Иван. Сердцу не прикажешь, — сказала она Швайке по-доброму, как только могла.

— Не сердчаю я на тебя, — ответил тот, проводив её взглядом.

А Гриша вдруг сказал:

— Я теперь на неё даже по-иному смотреть стал. Это сколько ж надобно смелости-то, чтоб не пойти за тебя?

Ермак.

Петра Ермакова больше всех не любил Иван: не только потому, что презрительно относился к его наивности и мягкости характера, сколько потому, что с недавних пор Петя крепко стал якшаться с Прасковьей Ковшовой — двоюродной сестрой младшего Швайки. Тётка Ивана, Акулина Швайка, в замужестве Ковшова, родила от покойного мужа двоих детей: старшего сына Ерофея и дочку Прасковью. А после муж умер от лихорадки, простудившись на рыбном промысле. Акулине же досталось от покойного мужа доброе наследство, и второй раз выскакивать замуж она не спешила.

И Ковшовых Иван на дух не переносил: с Ерофеем у него шла настоящая семейная война. Старший Ковшов был поспокойнее бешеного швайчонка, но не упускал возможности поддеть его как следует, часто захаживал к дому сотника, нарочно мельтеша у Ивана перед глазами. Младший Швайка оттого злился страшно. И казалось бы, оставь Прасковью в покое, раз Ковшова — и она. Но нет.

Как прознал Иван про её с Петром шашни, сначала пригрозил Ермакову, а затем и ей. Прасковья, и без того им же пуганная, боялась несколько дней показаться из дома, пока углы все не округлили старшие: Кондрат приструнил сына. Иван осел, но всё одно поглядывал в сторону Петра грозно.

Как-то вечером стояли Иван и Григорий у старого тополя, щёлкали прошлогодние засушенные орехи, разговаривали о своём: Швайка жаловался на мать, из-за которой вчера весь день проторчал у дядьки Фрола. Гриша переживал за деда, чьё здоровье в последнее время сильно шаталось. Пётр подбежал к ним, весь красный и запыхавшийся.

— Куда так бежишь? — спросил его Григорий, сплюнув скорлупу под ноги.

Пётр молча растолкал их, прижался к дереву.

— Мамке моей и сёстрам не говорите, что видели меня, — сказал он осипшим голосом и, пыхтя, полез наверх.

— И не расшибётся же, — процедил сквозь зубы Иван.

Пётр скрылся в молодой листве так, что, и присмотревшись, не увидишь его. И через какое-то время Григорий и Иван уже слышали вопли Анисьи:

— Пётр! Где ты? — кричала она истошно и злобно. Потом показалась немного поодаль, с хворостиной в руке.

Гриша и Иван тихонько посмеялись. А уже после перед ними нарисовались Ольга и Вера: сразу заулыбались, покраснели, подолы простых сарафанов мнут.

— Гриша, Ваня, брата нашего не видали? — спросила Ольга.

— Не видали, — ответил Григорий, раскусывая орех.

— Он снова сбежал, — пожаловалась Вера. — Будто так нам охота носиться за ним!

— Так не носись, раз не хочется, — бросил ей Иван. — Топайте к Дону, может, он там сидит и прячется от вас в камышах.

И обе обиженные ушли прочь. Ещё несколько минут Григорий и Иван постояли под деревом, пока три неугомонные женщины не скрылись с глаз.

— Слезай, дурак, — сказал Иван, задрав голову.

Пётр спрыгнул с дерева, ловко приземлившись на ноги.

— Хорошо ты затаился от них. Додумался же, — улыбнулся Гриша.

— Спасибо вам, — выдохнул Пётр, отряхнул штаны и рубаху и засобирався куда-то.

— Ты куда? — спросил Иван, сведя брови в кучу. — Небось к Прасковье?

Пётр лишь кивнул и пустился скорее бежать прочь.

Прасковья, милая девчушка семнадцати лет, простоватая на лицо, но очень добрая и тихая, с длинной русой косой до талии. Она пугалась лошадей и познакомилась с Петром случайно, когда попросила того привезти хозяйскую кобылу с поля. С тех пор они стали чаще переглядываться, будто случайно заводили разговоры друг с другом. Пётр познакомил её со своей Вербой, прокатил на ней верхом, и Прасковья нисколько не испугалась, потому что рыжая кобыла, как и её хозяин, была ласкова и чутка. Пётр водил её к Дону, рассказал ей про своего покойного отца, а Прасковья — про своего. На прогулках они стали держаться за руки, а потом и вовсе приучились целоваться. И только после знакомства с ней Ермаков младший стал чаще не слушать мамкиного слова и сбегать по вечерам из дома, чтоб только свидеться с любимой и погулять. Как было и сейчас.

Она встретила его на улице у дома, сразу же обняла, и вдвоём побрели они гулять в сгущающихся сумерках, разбирая дорогу уже по памяти. По ночам Пётр к Дону не совался, боялся: гулял с Прасковьей, держась за руки, медленно прохаживаясь по городку, дома которого потихоньку погружались в сон.

— Главное, к моему дому не ходить, — горько усмехнулся Пётр.

— Тогда не пойдём, — Прасковья прижалась к его тёплому боку.

Побродили они совсем немного: по ночам в мае ещё ощущался холод и поднималась мошкара из травы. Но и того было Пете достаточно, чтоб почувствовать себя самым счастливым и нужным.

У колодца они долго-долго целовались, боясь, что могут увидеть. Потом Ермаков провожал Прасковью к дому, обнимал на прощание и, как только скрывалась она, спешил к себе, думая, что мать дома всё ещё не спит, закричит и отлупит его чем-нибудь обязательно.

На обратном пути ему повстречался прохожий, от которого не сильно, но ощутимо несло брагой. Пётр сгорбился, ускорил шаг, но его всё равно окликнули. Это оказался Иван, уже изрядно выпивший.

— А, Пётр. Поди сюда, — Иван протянул к нему руку и обнял за плечи, ища опору заплетающимся ногам. — От Прасковьи, а? Что, нравится она тебе, а?

Пьяный Иван был добрее трезвого, но оттого и непредсказуем. Сейчас он, навалившись на Петра, довольно улыбался и шутил про дела семейные, а мог в следующий миг кулаком вдарить в лицо так, что упадёшь кверху ногами.

— Нравится, нравится, — тихо пробубнил Пётр, попытавшись убрать с себя руку Ивана, но тот не дал.

— Вот же она, взглянула на такого заморыша, как ты, — смеялся Швайка, а потом вытащил из-за пазухи тёплую деревянную баклагу, заткнутую тряпичной пробкой, и поболтал ею над ухом — там ещё плескалось. — А ну, выпей. Да пей, пей! Или боишься, что мамка твоя учует и выпорет? А ты наплюй на мамку и на них всех. Мне вот тоже мамка с батькой кровь который день сворачивают. А я вот и пошёл, и напился. И пусть только слово скажут — я и второй раз уйду, и третий.

Пётр принял баклагу, задержал дыхание и сделал глоток. Жижка оказалась тёплой, колючей от газов и горькой от дрожей. Он едва не поперхнулся, но проглотил, чувствуя, как от горла до живота прокатывается мутная волна тепла. В очень редких случаях Пётр позволял себе выпить крепкого, и через пару минут, после нескольких следующих глотков, ему сделалось легко и хорошо, голова чуть закружилась, зашумела. Передавая баклагу туда-сюда, Пётр и Иван допили её и расхохотались.

— Пётр, Пётр, Пётр, — протянул Иван, отсмеявшись. — Где же мы потеряли нашего Гриню?

— Не знаю.

— А я вот знаю, — гордо заявил Швайка. — Он, как и ты, бежит к Оксанке и лбызается с ней.

И снова они засмеялись. Петру хотелось, чтобы этот момент не заканчивался: чтобы всегда у него были такие простые и весёлые отношения с друзьями, когда смеются не над ним, а над простой, смешно рассказанной историей.

— И я как-то видел, как он её дёргал за косичку, — продолжал Иван.

Вновь грянул смех.

— А мне батя говорит, мол: когда внуки, когда женишься, Иван? А я ему: да на ком жениться-то, батя? Тебя вот мать спрашивает, когда ты женишься?

— Нет, никогда не спрашивала.

— А меня всё грызут, собаки. Вон, сёстры твои как на меня глазеют, ох-ах. Как я иду, у них всё из рук валится, краснеют, улыбаются, — Иван продолжал посмеиваться. — А сёстры твои кто, Пётр?

И разом оба ответили:

— Дуры! — заведя такой громкий и долгий смех, что у Петра разболелся живот.

Вместе они дошли до большого дома Шваек, и Пётр мысленно уже прикинул, по какой дороге в темени ему искать свой дом. Иван вдруг его потряс, заговорил тише, уже без смеха:

— А я, Пётр, мужик. Понял?

— Понял, — ответил Пётр, испугавшись возможных проблем.

— Мне батя говорит, что я в мамку весь пошёл. Что характер у меня дрянный, от Шваек нет совсем ничего. И тогда сказал: засиделся ты, сынок. А я жениться хоть сейчас готов! Хоть вот берите меня и показывайте, где невеста живёт. Он думает, не мужик я... А я ему наперекор! Ничего, и у меня всё будет, всё на лад пойдёт, что батяка ещё извиняться станет.

— Это ты про свадьбу-то? И про Оксану? — спросил Ермаков.

— Да-да, про неё, — Иван приложил палец к своим губам, шикнул и улыбнулся. — Только ты ни-ни, понял? Даже Грине. Это моё дело. Ты же мне кто? Друг? Станешь хранить секрет? Не сносишь — я тебя поколочу, Петруша, — он посмеялся, а Петру теперь стало не до смеха.

Савва Чуб.

В последнее время Оксана вела себя странно, и Григорий не мог этого не замечать. Она словно боялась Ивана: избегала ходить мимо Швайкиной избы, старалась не встречаться со Швайками ни на улице, ни у колодца. Гриша допытывался:

— Обижает он тебя? Ты только скажи — я ему задам.

— Не обижает, Гриша.

Но голос её дрожал, а глаза отводила в сторону.

Прорвало Оксану лишь жарким обеденным днём, когда Григорий уж совсем на неё надавил. Она разрыдалась, уткнувшись ему в плечо, и поведала о беде, о которой молчала слишком долго.

Дождливой осенью все их посевы сгнили в воде, а то, что уцелело, поел жук. Вся надежда оставалась на чёрную коровку Зорьку, но и та по зиме занемогла и издохла. Григорию стало стыдно до жара в груди: он любил Оксану сильно и крепко, но за всё время ни разу не спросил — куда подевалась их старая корова, откуда взялась новая, рябая, каков нынче урожай, нужна ли помощь?

А помощь, оказывается, была нужна давно. Отец Оксаны тогда пошёл на поклон к сотнику Кондрату, и тот выделил ему корову из своих голов, коня из табунов, немного денег и овощей. Только второй год уж пошёл, а возвращать долг семье Оксаны по-прежнему нечем.

— Потому и не хочу мимо него ходить, — заключила она, вытирая слёзы.

— Иван, стало быть, попрекает тебя? — Гриша сжал кулаки.

— Нет, но мать его глядит дико, будто мы не в долг взяли, а обокрали их. А перед Иваном просто стыдно.

— А чего же ты стыдишься, Оксана? Не ты тот долг вымаливала.

— Но вымаливал мой отец. Мы корову у них взяли, на те деньги, козу купили, немного кур. Корова отелилась, молоко мы пьём и мясо будет, да только куры все перемёрли, никак не можем справиться со своими посевами. Нечем отдавать. Будто проклял нас кто...

Григорий обнял её, успокоил, хорошенько подумал, помолчав.

— А знаешь что? — сказал вдруг он, взяв её за плечи. — Вот сейчас я пойду к Ивану и поговорю с ним.

— Зачем к Ивану? Не надо к Ивану, Гриша, мы уж как-нибудь переживём.

— Иван друг мне, он выслушает, не откажет. Ты только иди домой и не плачь больше. Я для тебя, Оксаночка, всё сделаю. Забудь о долге том теперь. Больше его не станет!

И, оставив её, ошеломлённую, одну, Григорий пустился бежать так скоро, что думал, сапоги его прямо на ходу слетят. Торопился, чтоб застать Ивана одного до вечера, иначе после в их избу так просто и не попадёшь.

После работы Иван во дворе чистил коня с такой резкостью и силой, что привязанный к столбу Серко топтался на месте, чуя гнев своего хозяина. Рядом, подбоченившись, бродила его недовольная и ворчливая Устинья. Самого сотника Кондрата нигде не было, что и хорошо.

Григорий быстрым шагом вошёл во двор, потревожив цепных собак — те разлаялись. Мать Ивана бросила на незваного гостя презрительный взгляд и удалилась. Иван же даже не обернулся.

— Иван, — окликнул его Григорий, становясь рядом с конём.

— Чего тебе надо?

— Поговорить пришёл.

— Говори быстрее, у меня дел немерено.

— Ты ведь знаешь, что твой отец давал в долг семье Оксаны?

Лицо Ивана мигом переменилось. Он перестал шкрябать шкуру коня, посмотрел на Григория, прищурившись.

— Знаю, и что с того? Отец их недавно поставил на проценты, а то уж второй год от них денег не дождёшься.

— Иван, выручи, — Гриша взял его под руку, но тот вырвался, ощерившись. — Поговори с отцом, пусть даст отсрочку хотя бы ещё на год, а лучше на два. Пойми, ни сном ни духом не ведал я про тот долг, а она мне сейчас только рассказала. Говорит, перед тобой даже стыдно.

— Передо мной стыдно ей? — пробормотал Иван себе под нос, о чём-то размышляя.

— И перед тобой, и перед матерью твоей. Она же её одним только взглядом в землю вгоняет. Помоги, а? Дай отсрочку, я всё сам выплачу, Богом поклянусь.

Иван усмехнулся:

— Погоди клясться. Долговую расписку они подписали — что я теперь могу сделать?

— С Кондратом поговори, ты же сын ему. Он тебя послушает. Я не прошу забыть долг, я прошу дать мне время. Я отдам всё.

— Станет меня отец слушать, как же, — проворчал Иван. — Только и знает: «Иван, иди туда, сделай то, подай это».

— Иван, пойми меня...

— Не проси даже, не стану я с отцом об этом говорить, — вспылil он. — Не мой это долг, не мои заботы, не мне за него отвечать.

Григорий шумно выдохнул и замолчал. Если Кондрат Швайка потребует долг с процентами, не выплатить его вовек, хоть умри на работе, хоть продай всё на свете. Но тут Иван заговорил снова:

— А ты попробуй сейчас часть долга закрыть, пока нет процентов.

— Чем же я его закрою?

— Коня продай.

От этих слов Гриша вздрогнул. Продать коня? Верного Вороного, которого выходил с жеребятства?

— Да как же коня, Иван? Как мне потом быть?

— Тогда я тебе не советчик. Ты её любишь, не я. Обещал выплатить долг её семьи, а коня продать жалеешь, чтоб хоть немного помочь. — И, помолчав, тихо добавил: — Была б Оксана моей, я б за неё Серко продал.

И подстегнули его слова Гришу, как нагайка прыткого коня. Не ответил он Ивану, выбежал со двора стремглав и пустился бежать скорее к дому.

Он ворвался в хату, шибанув дверь, не сразу почуяв чужой запах.

— Батька, коня я продам! — воскликнул он и замер у порога.

— Почто коня продать хочешь? — посмеялся мужской сиплый голос. — Какой же из тебя козак да без коня.

Внутри мазанки, на лавке, за столом с отцом сидел старый знакомец, которого Григорий не сразу и узнал. Последний раз сечевик Савва Чуб приезжал в верховья Дона к родне лет пять назад, а может, и того больше. Тогда он ещё был молодым двадцатипятилетним запорожским казаком, отрачивал свой оселедец, который спускался с макушки его бритой головы до ушей. Грише было в ту пору восемнадцать, он впервые познакомился с Саввой и вместе с Иваном и Петром слушал его задорные рассказы о сечевой жизни на Низу. Теперь же Савве, должно быть, тридцать. Взлохмаченный чуб ложился поверх плеча, концом доставая до груди, лицо блестело от пота, голубые глаза глядели широко и дико. Первые морщины тронули лоб и переносицу, но с губ не сходила хитрая усмешка. В левом ухе блестела большая и тяжёлая золотая серьга. Савва сделался мужчиной.

Отец Григория поставил гостю на стол хлеб, горилку, квашеную капусту и слушал его рассказы.

— Ох, як же ты вырос-то, чернобровый, — улыбался Савва, спиной подпирая белёную стену. — И руки, и плечи, и лицом пригож. Небось дивчины бегают за тобой, як взбалмошные курицы?

Но у Григория не было времени на разговоры. Он двинулся к отцу.

— Коня продам.

— Какого коня? — спросил отец.

— Своего, Вороного.

— Ты никак на солнце перегрелся, хлопче, — нахмурился Савва. — Как можно коня продать? На кой?

Отец хмыкнул.

— Влюблённый он у меня, не видишь разве?

— О-о-о.

Григорий не унимался:

— То я тебе сказал, теперь не жди меня, — и скоро бросился к выходу.

— Стой, дурак! Я запрещаю! — кричал ему вслед отец.

За Григорием из мазанки вылетел и Савва Чуб, догнал его у плетня и положил руку на плечо, как давнему товарищу.

— Э, погодь, дончак. Почто спешить ты так? Кому коня продать? Зачем продать?

— Чтоб скопить денег.

— На що?

Григорий промолчал, но Савва и так понял.

— До того ты влюблённый, що коня ради якої-то дивчины готов сменять? Она сегодня е, а завтра нема, а доброго коня попробуй сыщи. А ну-ка, покажи мне своего Вороного.

Вороной был привязан за хатой, щипал свежую зелёную траву.

— От це ж конь! — улыбнулся Савва, подняв жеребцу морду, заглянув в зубы, пощупав ноги. — Всем коням конь! Не продавай, слышь? Жалеть станешь, ой як станешь.

— Не стану.

— Сперва коня продашь, а потом що? Саблю? Не жалеешь такое добро на якую-то там бабу.

— Она не какая-нибудь баба, — разозлился Гриша. — Я сватать её хочу, жить и детей растить с ней хочу.

Савва на это только посмеялся.

— За чем же ей от тебя деньги? — спросил он.

И Григорий кратко бросил в ответ про долг перед сотником. Тут Савва немного оживился:

— Должок-то не малый, покроет ли твой конь хотя бы половину его? А вот и нет, не покроет. Що ж дальше делать станешь?

— Работать буду, главное, чтоб Кондрат Швайка отсрочку дал за моего коня. А там и заработаю всё.

— И готов ты полжизни спину гнуть на кровопийцу-сотника. Да, Гриця, совсем не узнаю я тебя. Раньше батька твой и уследить не поспевал за тобою, як ты уже какому-нибудь дурню морду расквасишь. А теперь вот зажался около девки и дрожишь.

— И я тебя не узнаю.

— Неужто я як-то изменился? — рассмеялся Савва. — Яким был, таким и остался, таким и помру. Это ты вон, як вытянулся. Э, а не пойти ли тебе, Гриця, со мной на Низ?

— На Низ? — удивился Григорий.

— А почему и нет? Батька твой сам из сечевиков, неужто не отпустит? Мирон Вернигора в прошлом на Сечи был, это уж потом тут основался и прирос корнями.

— Зачем мне на Низ?

Савва хлопнул его по плечу:

— Экий ты чудной, ей-богу, не могу наглядеться. А помнишь, як слушал ты мои рассказы, разинув рот?

— То было давно.

— Як давно? Не так давно, чтоб успел человек перемениться.

— А я переменился, — Гриша взглянул на Савву. — Зачем мне на Низ?

— Попроси свою дивчину и её семью не торопиться с венчанием, то успеется. За год-другой ты сюда с Сечи такой дуван привезёшь, що не только долг пану сотнику воротишь, но и свадьбу справишь, и дом поставишь, и Оксанку свою в наряды красивые оденешь.

Григорий сразу же замотал головой:

— И сгину я на твоей Сечи, Оксана и не дожждётся меня, а к тому времени Кондрат Швайка отберёт у её семьи последнее.

— Дурень, я же с тобой буду, — Савва тронул пальцами серьгу. — Я и на татар, и на турок ходил, с ляхами бился. Столько добыл: коней, овец, ковры, мониста, золото, сабли добрые. И за тобой присмотрю, слово за тебя скажу. Будешь жить в Донском курене со мной и другими донцами, так що в обиду не дадим. Наш куренной атаман Панько — человек твёрдый и справедливый. Коли биться хорошо станешь, с первого же похода сможешь покрыть весь долг. Всё по-честному, на Сечи нет панов, магнатов или королей, там товарищ товарищу ровня.

Григорий глядел на довольное Саввино лицо, на вислые усы, на блестящую на солнце серьгу. Думалось ему покрутить пальцем у виска, но тут Вороной, учуяв где-то далеко другого коня, поднял голову и заржал.

— А коня не продавай. Як козаку без коня? — продолжал Савва.

И начинал Гриша на него злиться. Иван не помог, коня отговаривают продавать, а у Оксаны теперь на счету каждый день. Когда уж там она будет ожидать его год или два, пока он нагребет чужого добра и соизволит вернуться.

Оставил он коня в покое и, не оглядываясь, пошёл прочь от родного дома. Савва ничего ему больше не сказал.

До темноты бродил по улицам, сам не зная куда. К вечерне, когда небо над городком окрасилось в оранжевые и малиновые пятна, привели его ноги к дому Степана. Он вошёл вовнутрь без разрешения — собаками молодой отец не обзавёлся покамест, а друзьям всегда были открыты его двери. В небольшой избе встретили Григория шум и крики младенца. Жена Степана убирала со стола миски и плошки, оставшиеся после ужина, она устало, но по-доброму улыбнулась пришедшему. Сам Степан сидел на лавке у стены, вырезал ножом из дерева что-то, отдалённо напоминающее лошадку. А рядом, держа маленькую Ульяну на коленях, сидел Пётр Ермаков и следил за тем, как Степан орудует ножом. В люльке заливался плачем маленький Ерофей, Ульяна же сидела смирно даже на чужих коленях, сунув указательный пальчик в рот.

— А ты что тут делаешь? — спросил Григорий первым делом, взглянув на Петра. Тот поднялся, держа Ульяну на руках.

— Степана проведать решил. И от мамки прячусь, она снова не в духе, что к Дону ездил.

— А Прасковья твоя где? Чего с ней не гуляешь?

Пётр покраснел и неловко улыбнулся.

— Я к ней ночью хожу, а то днём Иван увидит — обозлится.

— Так вечность и станешь прятаться: то от матери с сёстрами, то от Швайки, — бросил Гриша в ответ и заметил, как Пётр от обиды ли, от печали за свою жизнь закусил губу.

Но в разговор вмешался Степан. Он отдал резную лошадку дочери, взял её с рук Пети и передал жене, а та отправилась укладывать Ульяну спать.

— Когда-нибудь и Пётр наш наберётся смелости да женится на Прасковье и в Дон нырнёт, — сказал он.

— Надо бы поторопиться, а то уж двадцатый год ходит туда-сюда.

— Будет ещё время. А ты зачем зашёл? Поговорить? Ну говори, если уже здесь.

Когда жена Степана и дети ушли в горницу, а плач Ерофея стал тише, Григорий рассказал им двоим всё, что сам узнал: про долг семьи Оксаны перед сотником, про разговор с Иваном и желание продать коня. И не забыл упомянуть про Савву Чуба, который и отговорил продавать Вороного, и всё твердил про свою Сечь.

Степан и Пётр слушали не перебивая, последний так и вовсе рот раскрыл. А Григорий продолжал:

— И вот, вроде, как и за советом я к тебе пришёл, да не знаю.

— За советом ли? Или всё давно уже решил сам?

— Не знаю ещё. И Савва будто бы прав: как мне быть без коня? И сам он будто бы уже бывалый, настоящий казак. Не с пустыми руками на Верхний Дон приходит. Говорил, что на турок даже ходил. А я и сам саблю знаю, в степь выезжал.

— А Оксана твоя чего?

— Вот на ней всё и не вяжется. Как мне помочь ей с долгом, ежели Кондрат Швайка грозит уже последнее отобрать. Даже если коня продам, потом ещё полжизни работать на сотника и спину гнуть. Если уеду, могу не вернуться, Оксана не отпустит. А ежели повезёт и вернусь, могу и долг отдать, и на жизнь себе оставить, да не выдадут ли Оксану замуж?

Степан почесал затылок, рассуждая. В горнице ещё стоял плач Ерофея. Пётр молчал.

— Ты вот что: как сам захочешь, так и будет. Если мне не надо ни за кем с саблей на коне скакать, я то и выбрал. Поставил дом, обзавёлся хозяйством и женой. Ежели бы преследовала меня такая чертовщина, я бы продал коня, да работал бы хоть на кого угодно, да только был

бы рядом с любимой. Здесь был бы мой дом, а всякие Саввы — они иного склада. У Саввы жены нет, он приезжий и уезжий, живёт, считай, до первой точной стрелы или сабли.

— Зато казак какой стал, ты его видел? Десять лет прошло, как выбрал он ту дорогу, всё ещё идёт по ней.

— И ты так хочешь?

— Я хочу с Оксаной быть, — твёрдо сказал Григорий. — А чтоб с ней остаться, нужно долг уплатить.

Степан немного помолчал и вздохнул:

— Продай коня, — сказал он вдруг. — Твой конь, я своих двух овец дам. Если не хватит и того — вместе будем работать, я тебе помогу, как смогу, потом сочтёмся, может. Вон, у тебя и Пётр есть, поможет тоже.

Но Пётр всё ещё стоял, разинув рот, будто пришла ему в голову такая мысль, что сделался он немым, только бы другим о том не проболтаться.

— Ты хочешь ради чужого долга, не моего даже, продать овец и уйти в работу? — удивился Григорий. — А потом я и с тобой вовек не рассчитаюсь.

— Да нежели я прошу тебя прямо сейчас всё вернуть мне? Только такой совет могу дать тебе. Если любишь Оксану свою, то останешься с ней, как бы много ни пришлось отдавать Кондрату Швайке.

— А ежели я уеду, то значит что? Не любил я её, выходит, по-твоему?

Степан пожал плечами:

— Ежели уедешь, значит, всё пойдёт так, как я уже не увижу. Я же не знаю, на сколько ты уедешь, не пропадёшь ли.

— Хотя бы на год съездить. Что может случиться за год?

Из горницы вышла жена Степана с хныкающим Ерофеем на руках. Степан взял сына и поднял его к потолку. Мальчик продолжал плакать, а отец смеялся.

— Вон у меня, жена умелица, дочь красавица и какой сын растёт. Ерошка мой, скоро надобно будет на коня сажать.

Жена его улыбнулась:

— Рано ещё, — тихо возразила она.

Мальчишка всё плакал, но уже тише. Григорий глядел на него, поднятого на отцовских руках, снизу вверх, и думал, что давно уже представлял себе, какими были бы его дети. Оксана у него редкая красавица, русоволоса, голубоглаза. Сын их или же дочка, скорее всего, были бы такими же, как сам Григорий — чернявые, черноглазые и неугомонные. Хотелось уже скорее увидеть их, поддержать на руках, как Степан держал своих детей. Чтоб была своя изба, и детский смех или же плач наполняли её каждый день, а Оксана была бы рядом. Уставшая, как и жена Степана, но всегда любимая жена и мама. Скорей и скорей... А за долг пришлось бы работать много лет, отказывая себе и отдавая всё Швайкам.

Когда Ероха вновь зашёлся плачем, Григорий резко притянул к себе за плечо Петра и улыбнулся:

— Всё, Петро, айда отсюда, пора хозяевам отдыхать. А тебе, Степан, я ответ завтра скажу.

Они вдвоём вышли на двор, а там уже стемнело. Дом Степана остался далеко за спинами, пока они шагали по тропинке.

— Ты теперь к Прасковье? — спросил Григорий.

— Ага, заскочу к ней, пока мать меня не нашла, — Пётр хрустел пальцами, гнул их, а потом вдруг заявил: — А поехали на Сечь вместе?

— Вместе? Сдурел ты, Пётр? — Григорий резко остановился и остановил Петра, схватив за плечо.

— Почему сдурел-то сразу? Ты, вообще-то, прав. Я уже двадцать лет из-под мамкиного прута не вылезаю, даже плавать трушу, а знал бы ты, где это всё у меня сидит! — он ударил кулаком себя по груди.

— Ты и сабли-то не держал в руке.

— Научусь! Ей-богу, Гриня, не могу я уже так больше!

— А Прасковья твоя как?

Тут и Пётр замялся, но вскоре нашёл слова:

— Думаешь, Иван Швайка так просто оставит меня в покое? Это он пока так, на людях не лезет. Я же чувствую: как узнал он про нас с Прасковьей, он меня будто сожрать хочет. Это из него не выйдет никогда: где это Ермаковым возиться со Швайками? И не объяснишь же ему, что Прасковья, хоть по матери Швайка, по отцу покойному всё равно Ковшова. А этот заладил: Швайки, Швайки... Сбрэндил.

Постоял Григорий, послушал, закивал, будто соглашаясь, а сам думал, как сделать так, чтоб надоедливый Пётр не поехал за ним на Низ. И глаза уже начинали слипаться.

— Иди-ка давай ты к своей Прасковье, потом с тобой поговорим, — он хлопнул Петра по спине и быстро зашагал, выискивая в темени дорогу к дому.

Чужой конь у плетня

Ранним утром кто-то громко свистнул под его окном. Григорий мигом открыл глаза, зевнул и потянулся. На улице Пётр, верхом на своей рыжей кобыле Вербе, улыбался во весь рот и махал рукой. «Только тебя мне снова не доставало», — горько подумал Гриша и нехотя покинул хату: глуховатый на правое ухо дед Еромолай ещё спал, а отец суетился во дворе.

Он вышел, умыл лицо дождевой водой, что накапала в бочку у дома, и лениво поплёлся к Петру.

— Солнце уж высоко, — радостно заявил Пётр, хотя светало только-только. — Я от мамки сбёг, покуда спала. Седлай своего Вороного, поскачем к Дону.

— И на кой ляд в такую рань к Дону-то? — спрашивал Гриша, очи его слипались.

— Да просто так, Гриня! Поскачем, подышим, коней напоим да искупаем — и домой.

Во дворе раздавался стук топора и треск деревьев. Глядя на отца, Гриша вдруг прищурился, сообразив, как ему избежать сей поездки:

— Так вон, батьке подсобить надобно сперва, а опосля меня не жди, я до Оксаны.

Но Мирон, услышав слова сына, распрямил спину, добро улыбнулся и махнул ему рукой:

— Ступай с Петром. Ступай.

И скоро доскакали они вдвоём до Дона. Раннее утро ещё держало в себе вечернюю майскую прохладу, но воздух мало-помалу начинал нагреваться. Вороной шёл то размашистой рысью, то галопом, а Верба резво неслась впереди, неся Петра. Длинная осока доставала лошадям до брюха, но вблизи реки она поредела, появились заросли вербы, цветущей мягкими барашками, и меж ними песочная дорожка к Дону.

Прискакав к реке, лошади принялись жадно пить воду. Петро сбросил сапоги, закатал штанины по самые колени и прыгнул с Вербы в воду — но только туда, где она доходила ему чуть выше щиколоток. Дальше он заходить всегда боялся, хотя Дон любил страшно. Почти всё время пропадал здесь, кормил комаров и оводов, а плавать так и не выучился. Анисья гоняла его от реки, а он, будто уже и привык, что та его колотит, всё равно уезжал.

Пётр затрясся и засмеялся:

— Ай, ай, холодная! — и быстрее вышел на берег, усевшись на влажный песок.

Гриша подобрался к воде, второй раз умыл лицо, прогоняя остатки сна. Думал про себя, как скорее вернуться домой и Петра спровадить куда подальше.

— А помнишь, как ты одной зимой тут под лёд провалился? — вдруг начал Пётр, сунув травинку в зубы.

По всему телу пробежался тот холод, который Гриша, наверное, никогда не сможет забыть. Руки и ноги не шевелились, грудь сдавило от ледяной воды, и медленно он опускался на дно.

— Мне тогда так страшно и стыдно было, — признался Пётр. — Плавать я совсем не умею. Беспомощно бегал по берегу и звал на подмогу. Будто кто услышит.

— Неча стыдиться. Полез бы ты в воду — стало бы в нашем городке двумя утопленниками больше. Хорошо, что Иван тогда был с нами.

Швайка тотчас сиганул в воду, замолотил кулаками по льду, рычал, как зверь, но сумел вытащить Гришу на берег за шиворот кожуха.

— Ты подсобил нам потом, приволок по домам. А то зачоченели бы мы с Иваном. А почто не плаваешь-то? — Григорий вдруг понял, что никогда и не спрашивал, отчего Пётр так боится воды. Прежде любопытства не было, а сейчас что-то зажглось внутри.

— Батка мой рыбаком был, — начал Пётр негромко. — Я маленький бегал к нему, стоял вот так на бережке и глядел, как он с сетью управляется. Идёшь с ним, бывало, глядишь на рыб в ведре, как они таращат глаза и шевелят ртами. А потом помню, как отец в Дон упал, в сети запутался, взмахнул пару раз руками — и исчез в воде. Я сперва стоял и думал, что выберется. Малый был, не понимал. А как дошло — расплакался и побежал за мамкой. Отца у меня больше не стало. Теперь мне как-то боязно.

Пётр усмехнулся, но в голубых глазах всё ещё плясали грусть и страх. Гриша это видел.

— Ну что, налюбовался Доном? Коней напоили? Ворочаем домой. Мне бы к Оксане успеть, а то потом работы много, до вечера с ней и не свидимся.

Обратно ехали шагом: Пётр босой, сапоги приторочил к седлу, стремяна подобрал, и всё улыбался, довольный, что сумел хоть ненадолго сбежать из дому на реку. Про Сечь больше не упоминал, то и хорошо. А Григорий, будто чуя недоброе, спешил к Оксане. Хлестнул коня нагайкой и помчался так быстро, что Верба за всю дорогу лишь взмылилась, запалённо задыхалась, а догнать Вороного не смогла и близко.

Коней, храпящих и фыркающих, осаждали у первых хат. Гриша направил Вороного к дому Оксаны и нервно оглянулся на Петра — тот не отставал.

— Пётр, я к Оксане еду, — напомнил Григорий с неловкостью.

— Знаю, — Пётр поскрёб затылок. — Гринь, можно с тобой? Ежели домой вернусь, мать чем-нибудь тяжёлым огреет. А так — будто ушёл с тобой ни свет, ни заря работать.

— Ты что это, Пётр? Будешь глазеть, как мы с ней целуемся? Ступай к своей Прасковье и бегай с ней по речкам!

— Гриня, ну пожалуйста! Ты же знаешь мою мать.

Григорий со злости хотел было снова хлестнуть Вороного, но у самого дома бондаря лишь резко рванул повод. Жеребец взвился на дыбы, разинув рот. Пётр замер чуть поодаль, округлив глаза.

У дома, привязанным к плетню, стоял крапчатый Серко — конь Ивана Швайки.

— Ну вот, и Швайка теперь с нами будет, — брякнул Пётр первое, что пришло в голову.

А Гриша насупил густые чёрные брови. «Чего это Швайке понадобилось у моей Оксаны?» — думал он, чувствуя, как сердце забилося чаще: не то от злости, не то от неожиданной ревности.

Подъехали ближе. На улицу торопливо вышла Оксана с большими испуганными глазами. Швайка нагнал её, схватил за руку, но тут же отпустил, увидев перед собой Григория с Петром.

Гриша соскочил с седла, и Оксана бросилась к нему в руки.

— Не спится тебе, Иван, что по чужим домам шастаешь? — проронил Гриша, чувствуя, что ссоры не миновать.

— Я по делу к ней заехал, от отца-сотника к её отцу, да застал её одну, — Швайка как ни в чём не бывало подошёл к своему Серко, похлопал его по шее, на Григория не глядел, прятал злые глаза. — Думал потолковать с ней, а она испугалась.

— Если ты о долге том, то я уже говорил: я верну сам.

Наконец сотников сын взглянул на Григория и Петра, и заулыбался.

— Да что я, зверь какой, Гриша? Понимаю, виноват: появился без стука, утром рано. Видать, и впрямь напужал твою Оксану, — он подошёл и хлопнул Гришу по плечу. — В другой раз без гостинца не приеду, обещаю. А, Оксана? Привезу в следующий раз тебе гостинец, чтоб ты так меня не боялась. Мне только отец твой надобен.

— Они уж давно уехали, — Оксана всё льнула к любимому, и голос её прозвучал с плохо скрытой злостью.

— Понял тебя.

— Ты не к отцу, а ко мне заходил, Иван, — пробурчала она, уткнувшись Григорию в грудь. — И слова мне разные говорил, от которых я от тебя и убежала.

Григорий плотнее прижал её к себе:

— Какие такие слова?

— Разные. И обниматься лез ко мне.

Сидевший верхом Пётр присвистнул и обронил: «Вот те раз». Швайка впился злыми светлыми глазами в чёрные глаза Григория. Зарделись его уши и щёки.

— Обниматься лез, сотников сын? — Гриша бережно отодвинул любимую в сторону и встал перед Швайкой нос к носу: с виду спокойный, но кровь внутри уже закипала. Иван и сам взглядом мог бы дырок понаделать.

— А что с того? Она тебе не жонка ещё.

— Так станет, Иван. Не раз о том тебе говорил.

— Вот как станет, тогда и отступлю, — Иван понизил голос так, чтобы слышал один Григорий. — Не думай, что только тебе она по нраву. Чем я тебе не жених для неё?

— Ты? Жених? — тихо усмехнулся Григорий и, улыбаясь, отступил на шаг. — Полно тебе, Иван. На сей раз прощаю тебя, но в другой раз кости пересчитаю.

Иван вспыхнул:

— Почто кости? Давай хоть на конях померимся! Нет коня резвей, чем мой Серко.

В разговор вмешался Пётр:

— Мы с Гриней коней с Дона без продыху гнали, какие тут скачки?

— А ты помалкивай, Пётр. Не с тобой сейчас говорю, и не с тобой скакать буду, — отрезал Швайка. Пётр сразу притих, заплетая кобыле косичку на холке. — Выйдем в поле, и пусть Оксана поглядит, каков ты, её жених, в седле. А может, увидит и мою удаль. Ну, идёт?

И молча хлопнули друг друга по рукам.

Снова вернулись в поле. Оксана ехала вместе с Петром сзади на Вербе и тихо причитала, держась за плечи Петра: а достаточно ли быстр у Гриши конь, а удобная ли земля и трава для скачек, а не хромают ли Вороной, потому что ей причудилась хромота. Гриша и Иван ехали впереди, бок о бок: иногда Гриня оборачивался и тепло улыбался Оксане, а Швайка бросал недовольные взгляды то на ненавистного ему Петра, то на Гришу. Серко под ним весь извёлся от желания пуститься вскачь.

— Начнём отсюда, — сказал Иван, поворачивая коня к засохшей коряге. — Поскачем до вон той берёзы, обогнём её и вернёмся назад.

— И что же станется, ежели кто-то из вас придёт первой? — спросил Пётр.

— А то и станется, что не стану я мыкаться по углам и скрываться, и ты, Григорий, не будешь мне указом. Победишь ты — твоя взяла, я отступлю от Оксаны и позабудем нашу дружбу. А ежели приду первый я, то не ревнуй понапрасну, коли я как-то не так буду глядеть на Оксану.

— Хорошо, — отвечал Гриша, ничуть не испугавшись. На шерсти Вороного ещё блестел пот, в то время как Серко уже рвался в предстоящую скачку.

Встали вровень, копыто в копыто. Пётр спешил с Вербы, проверил, всё ли готово, встал чуть в стороне, поднял вверх руку и резко махнул ей. Застегали нагайки, в воздух из-под копыт полетели комья земли и травы, и оба всадника сорвались с места быстрым галопом. Только тяжёлое дыхание и гул в земле были слышны над полем.

Пётр и сидящая на Вербе Оксана смотрели им в спины, пока они превращались в небольшие точки на горизонте.

— Совсем не ясно, кто кого обгоняет там, — встревожилась Оксана, теребя в руках конец своей русой косички.

— Не кручинься. Как поскачут обратно, там и увидим всё. Подумаешь, ежели Швайка обгонит, зато Гриня первый посвящается, и никакой Иван потом к тебе не подойдёт.

Иван хлестал своего Серко почём зря. До берёзы он шёл первым, Гриша дышал ему в затылок, чувствуя ногами, как быстро надуваются и сдуваются бока Вороного и какой от него идёт жар — почти как от растопленной печи. Конь ронял со рта куски пены и храпел, дул ноздри.

Обогнув одинокую берёзу, Серко споткнулся в высокой траве, Швайка с него чудом не слетел, а Григорий вырвался вперёд, но перед этим взглянул через плечо на друга — не свалился ли тот. Но Ивана в момент охватила такая злость, что он ещё пуще стал стегать коня нагайкой то по крупу, то по шее, но как ни старался, Серко быстрее уж скакать не мог.

Миновав сухую корягу, под радостный визг Оксаны и одобрительный свист Петра первым пронёсся Гриша, а следом — злой как чёрт Иван. Оба всадника мокрые, кони взмыленные, дышали часто и тяжело. Первым делом принялись отшагивать жеребцов, пока не успокоится дыхание.

Гриша спешил, и Оксана, смеясь, сразу кинулась к нему и обняла — всего потного, насквозь мокрого, а Пётр тем временем бережно принял Вороного за повод и стал водить кругами, успокаивая.

— Всё по-честному, Иван, — выдохнул Гриня, утирая мокрый лоб рукавом.

— По-честному, — буркнул в ответ Швайка, пустив коня вольничать.

— Только не к чему нам с тобой дружбу хоронить. Давай оставим в прошлом всё, что меж нами было?

— Оставим.

Обратно пошли пешком: Пётр вёл в поводу Вербу и Вороного, Иван — своего Серко. Оксана держала Гришу под руку, улыбалась, о чём-то шутила. Гриша пару раз сказал: «Теперь можно и сватов к тебе засылать», — обернулся на Швайку, который плёлся позади и пинал ногой гнилую деревяшку.

Приближалась хата. Мать Петра, Анисья Ермакова, женщина сухая и всегда взволнованная, вместе с двумя старшими дочерьми Ольгой и Верой выбежала из хаты, как завидела сына, и вlepила Петру такую затрепину, что он отшатнулся. Сёстры над ним посмеивались, иногда бросали влюблённые взгляды на Ивана — тот жених был завидный: сотников сын, лицом не урод, удаль есть, всё при нём.

— Да по что же ты меня колотишь? — взмолился Пётр, прикрывая голову руками. — Довольно, у меня так и лошади сбегут, мамка.

— Ах ты, поганец, — ругалась она в ответ. — Сколько раз тебе говорила: неча на реку соваться! Я с ног сбилась, покуда искала тебя. А вы что смеётесь, дурёхи? Живо домой!

Глядя на это, Гриша с Оксаной тихо посмеялись, а потом Гриша поцеловал любимую в щёку.

— Ну, и мне пора уж, подсоблю отцу, — он повернулся к Швайке, красному и хмурому. — А ты, Иван? Может, вечером встретимся, коней погоняем?

Ответил ему Иван — только не словом, а кулаком. Засветил с размаху в левое ухо — и перед глазами у Гриши заплясали искры. А за первым ударом тут же второй — справа. Взвизгнула Оксана, заголосили сёстры Петра, а Анисья заверещала истошно: «Ой, люди добрые, бегите скорей! Поубивают друг друга!»

Колено Швайки влетело Грише под грудь, вышибло воздух с хрипом. Он рухнул на одно колено, но извернулся, вцепился Ивану в шиворот и с хрустом ударил кулаком ему в нос.

— Вы чего?! Вы чего творите?! — кинулся разнимать Пётр, да освирепевший Швайка и ему заехал с локтя прямо в лицо, раскровянил губу.

Григорий поднялся на ноги. Левое ухо заложило наглухо, во рту, из рассечённой губы, прибывала солёная кровь. Оксана, подобрав подол сарафана, кинулась бежать за подмогой. А Пётр стоял поодаль, прижимал ко рту ладонь и хлопал глазами растерян — ни дать, ни взять жёлтый цыплёнок, отбившийся от курицы-мамки.

— Ты что творишь, Иван? — прохрипел Григорий.

— Это ты... — выдохнул Швайка, ощерившись по-волчьи. — Татарское отродье!

И больше Григорий ничего не видел и не слышал. Только обрывками помнил потом, как молотил кулаками распластанного под ним Швайку, а после уж сам, вдавленный в землю, принимал удары от друга — пока мужики не растащили их, тяжёлых и мокрых от крови, своей и чужой.

Швайка.

Даже со своим боевым нравом Иван побаивался родной матери — Устиньи Швайки. Была та женщина годов пятидесяти, дородная, с полным лицом, всё ещё важная и до ужаса вредная. Работы не боялась, но ко многим людям относилась с таким раздражением и брезгливостью, что младший Швайка, понимая — характером он весь в мать, — готов был со стыда провалиться под землю. Пилила эта женщина и сына, и мужа своего Кондрата Швайку изрядно.

На порог Иван заявился с побитой мордой: под правым глазом, который он жмурил, наливался синяк, нос разбит, вся рубаша на груди в крови. Устинья вскинула пухлые руки, а Кондрат, сидя на лавке, только кашлянул в кулак.

— С кем это ты так сцепился, собачий сын? — спросил отец угрюмо.

— Ни с кем, — огрызнулся Иван, сел за стол и стянул рубашку.

Мамка, причитая без умолку, принялась обмывать его ссадины холодной водой. Кондрат грубо ухватил сына за щёки, на которых кололась редкая щетина, и повернул лицом к себе, разглядывая.

— Не слабо. Всего разукрасили. Так с кем подрался-то?

Иван отбил отцовскую руку и насупился:

— С Григорием.

— Охо-хо, — усмехнулся Кондрат. — Он же твой друг, всё детство с ним пробегал.

Тут встряла Устинья:

— А я говорила, неча было ему тут ошиваться! Одно слово — чертяка татарская. Только кто б меня слушал. «Не лезь, Устинья, пусть парни растут вместе». Вот и вырастили! Колотят моего сына средь бела дня!

— Замолчь, — оборвал её Кондрат.

— Вечно ты меня затыкаешь! А ты глянь, что они с Ваней сделали! На нём живого места нет!

— Это я первый полез, — шмыгнул младший Швайка разбитым носом и зашипел от боли. — Я его ударил, а потом уже ничего не помню.

— Бить лицо другу своему али товарищу — дело дурное. За что ты его так? — сухо спросил Кондрат.

Устинья, не сдержавшись, вновь заговорила:

— Да всё из-за той девки Оксанки! Грызутся они с этим чернявым за неё, а она и рада. Пойдёт потом хвастать всему городку, как за неё сотников сын и Вернигора дрались. Тоже мне, нашлась тут красавица! Зажимается с этим чернявым всюду — тошно глядеть.

— Замолчишь ты, бабий твой язык что помело! Уйди лучше, дай мне с сыном потолковать. А то я смотрю, нахватался он от тебя всей этой ядовитой гадости. Не мужчина растёт, а ровно баба вторая у меня в доме.

— Вот и уйду! — Устинья топнула ногой. — А ты, сынок, брось думать о своей Оксане. Мне такая невестка в доме не надобна! Опозорила нас со сватами, а мы её семье ещё и денег заняли, которых они не возвращают! — И она пошла к двери, продолжая бормотать что-то себе под нос.

Лишь в редкие деньки удавалось Кондрату Швайке посидеть с родным сыном один на один и побеседовать. Чаще всего дома его не бывало, а если и бывал, то преподавал ему воинскую и всякую иную на то науку. Ещё мальчишкой Иван обучался грамоте, тогда же сдружился с Гришкой Вернигорой и занимался с ним чем попало, попадая под отцовскую порку: то яблоки сворует, то чужого коня от привязи отвяжет и испужает, то в чьё-то окно зарядит камнем. Вот так и запомнил Иван своего отца: сурового, строгого, немногословного. Того, что докрасна и до синяков сперва выпорот за шалость, а потом объяснит, отчего же так делать нельзя. Не то что мать, которая подле сына вилась, как пчела у любимого цветка. И хоть строга была она, но всему потакала. «Ивашка мой не такой, как эти все. Он у меня способный», — говорила она почти всем, расхваливая сына.

А сейчас сидели отец и сын, и не знал ни один, как разговор завязать: Иван супил брови, побитый и злой, а Кондрат постукивал пальцами по столу.

— За что кулаками-то махал? — спросил наконец старший Швайка. — Разве тому я тебя учил?

— За дело махал. Чего у этого чернявого вечно всё выходит, как надо? Я хотел нынче обскакать его в поле. У меня лучшие кони, мой Серко ветра резвей, а он на своём Вороном обставил меня, дураком выставил у всех на глазах.

— На чьих глазах?

Немного помолчав, Иван продолжил:

— Оксана глядела. Пётр тоже, а я и ему в лицо заехал, губу разбил.

— Дураком ты себя сам сделал, Иван, когда предложил другу эту скачку. Коли проиграл, будь добр и поражение принять достойно, как мужчина: руку пожать, обидные слова сдержать. Тогда, глядишь, и Оксана твоя по-иному на тебя смотрела бы. А ты драку затеял и закопал себя с головой.

— Может, и так, — проронил Иван, глядя в сторону. — Только почто же ему всё да всё? И девка светлая ему, и все взгляды — ему. А я? Чем я хуже? Тем, что усов у меня чёрных нет? Бровей да волос чернящих? Или тем, что глаза серые, а не карие? Иной раз гляжу на него и не понимаю всех вокруг. Кровь в нём чужая, а всех к себе тянет, татарский отрок.

— В тебе не твои слова говорят, а слова матери непутёвой твоей, — строго ответил Кондрат, ударив ладонью по столу. — Неужто на тебя девки не заглядываются? Вон, взять хотя бы Ермаковых, сестёр Петра.

— Те две дуры на всех заглядываются. В девках давно засиделись...

— Не перебивай, когда отец говорит. Неужто у тебя глаз нету, чтоб всё видеть, а не только то, что тебе хочется? Посмотри же, сколько раз от Григория шарахались, сколько раз его чернявым дразнили. И не важно, шутка ли то безобидная али открытая неприязнь. А ты туда же, мой сын, единственный сын, воспитанный, грамоте обученный, у меня в десятники метил. И лучшего друга отродьем татарским обозвал. Эх ты, Иван... А как ты его защищал-то раньше, забыл ли?

— Так ежели правда.

— Я ещё не договорил. Ты бы поменьше мамку свою слушал, а побольше своей головой думал. Она-то всех под одно сгребает, все у неё какие-то не такие, одна она хорошая да пригожая. И я у неё не такой, и родня моя вся не такая. Зачем замуж за меня пошла — ума не приложу. Хорошая ведь была, а теперь — чёрта хуже.

Иван, хоть и с трудом, но внял отцовским словам. Он и сам теперь не понимал, зачем распустил руки. Ведь сам же предложил скачку, сам же и начал эту глупую драку, да ещё за языком не уследил. Но стыдно ему не стало — лишь появился повод для горьких раздумий.

— И Петра ты тоже ударил? — спросил Кондрат. Иван молча кивнул. — Ох, и достанется же нам от его матери — такой шум подымет... Но с ней я позже сам разберусь. Ничего с её Петрушей не станется: пусть тоже учится быть мужчиной, а не вечно за мамку прятаться.

А Петру Иван и ещё бы раз вбил кулака в лицо, чтоб дышалось легче. И чтоб этот малый дурак поскорее узнал своё место и повзрослел наконец, забыв детские забавы.

— Вот к чему я всё это толкую-то, — продолжил Кондрат, строго глядя на сына. — Пойди нынче вечером, как кровь у всех вас остынет, и извинись перед Григорием и перед отцом его. Выкажись начистоту, забудь обиды и поклянись, что никогда больше кулака на друга не подымешь, а язык свой острый подальше запрячешь. Иначе какой же из тебя выйдет даже десятник? Где друга колотишь — там и товарища в бою предашь. А мы все здесь как на ладони, едины. И про Петра тоже не забудь.

— Понял, — буркнул Иван, осторожно тронул пальцами разбитый нос и опять зашипел.

И поздним прохладным вечером, когда уже смеркалось, а голова наконец перестала гудеть, Иван заявился на порог к Григорию. Постучал в дверь, вошёл, виновато опустив голову. В хате его встретили и дед, и отец, и сам Гриша. Изба их была не такая добротная, как у Швайки, но убранная и пахнувшая по-мужски просто и крепко.

— Какие люди пожаловали... — усмехнулся Мирон Вернигора, беззлобно, даже с каким-то пониманием.

— Всем вечер добрый, — пробубнил Иван и взглянул на Григория. На лице друга синели ссадины, но взгляд был спокойным, почти мирным. — Выйдешь на улицу, Гриня? Потолковать надо.

Тот молча поднялся, и они вдвоём сели у дома на завалинку, плечом к плечу, как, бывало, в детстве. В тишине наступившей ночи слушали трель сверчков, гуканье сов и далёкие песни лягушек у ставка.

— Ты мне, кажись, совсем нос расквасил, — шутливо пожаловался Иван, осторожно трогая распухшую переносицу.

— А ты мне в ухо так зарядил, что до сих пор звенит, — отозвался Григорий.

Они переглянулись и тихо посмеялись, хоть и не говорили ничего смешного. Стало вдруг легко, по-мальчишески, и они засмеялись — тихо, но от души.

Потом Иван посерьёзnel:

— Мне отец дома голову дурную вправил. Я теперь на всё по-иному смотреть стал. Раньше-то он меня за детские шалости порол вечность.

— А теперь тебя пороть без толку, — хмыкнул Григорий. — Такой вымахал, что старый сотник, небось, уже побаивается.

— Не знаю, Гриня, что нашло на меня нынче... но ты прости меня, дурака, за кулаки мои и за язык мой паршивый. На душе муторно так, ровно в болоте искупался. Хочешь — ударь прямо сейчас в ответ. Или обзови словом таким, чтоб до гроба помнил и язык свой прикусил.

Григорий поглядел на него спокойно, без обиды, вздохнул всей грудью и ответил:

— Прощаю тебя, Иване. А бить не стану — хватит с нас и этого.

Помолчал и прибавил, внимательно глядя перед собой в темноту:

— Только неужто мы с тобой Оксану делить станем? Из-за неё кулаком мне засветил?

При упоминании этого имени Ивана вновь окатило жаркой волной — такой непонятной, что он и сам в ней не разбирался: и сердце колотило, и злость подкатывала к горлу, и растерянность мутила голову.

— Да при чём тут она, — отмахнулся он резко. — А помнишь, как ты в Дону тонул, и я тебя вытянул? Мы тогда поклялись, что ни одна баба меж нашей дружбы не встанет. Вот это и помню. Не люб я Оксане... Что ж теперь — силком тащить? Побесился — и будет с меня. А драться полез, потому что не смог смириться: твой Вороной моего Серко обскакал. Воспитан я так, сам знаешь — везде первым быть. Это мамка моя в меня вбила.

— Мамка твоя — женщина... суровая, — протянул Григорий, и тут уж оба загоготали в голос так, что эхо пошло по всей округе. Иван хохотал до слёз, колотя себя ладонью по ляжке, но дёрнул разбитым лицом, зашипел; а Григорий закашлялся от щекотки в груди — туда в драке пришлось Иваново колено.

— Не стану я дружбу нашу рушить, Гриня, — тихо, но твёрдо сказал Иван, вытирая глаза. — Ты мне — почти как родной. А ежели скажу хоть раз про тебя дурное — сам приди и выбей мне зубы.

Григорий кивнул, и они ещё долго сидели на завалинке, остывая от смеха и отходя сердцем от глупой, обидной ссоры — уже совсем почти друзья, как прежде. Только лягушки кричали громче, чуя ночь, да звёзды медленно перемигивались в высоком чёрном небе над их молодыми головами.

Посидели ещё немного молча, после чего поднялись, крепко обнялись, и Иван ещё раз попросил у Григория прощения, а потом направился к дому Петра.

Навстречу ему у калитки вышла сестра Петра Ольга, и так и растаяла вся, едва увидела сына сотника. И дела ей, дуре, не было до того, что родного брата Иван поколотил. Вывела она своего братца с опухшей губой, а сама ушла в дом; но Иван заметил, как и она, и Вера уже подглядывают за ними из окна.

Обычно Пётр улыбался и весь светился, а тут стоял обиженный детина, ростом с самого Швайку, насупленный и, видно, ожидал какого-нибудь подвоха. Иван крепко ухватил его одной рукой за щёки и дразняще проговорил:

— Ух, какой сердитый! Как я тебе по губе-то заехал... Ай-яй-яй. Ну, давай отойдём, что ли, чтоб твои дуры-сёстры в окно на нас не глазели и мать твоя меня не увидела.

Отошли к раскидистой пахучей черёмухе; в вечерней темени угадывались её белые, богатые грозди цвета. У Петра просить прощения долго не пришлось: хоть дубиной его до полусмерти огрей, а потом извинись — простит же, дурень. Перед ним Иван почти и не объяснялся, но внутри приятно потеплело, когда Пётр опять через боль заулыбался, закивал и сказал:

— Буду считать, что это мне от тебя наука.

Часть вторая "Огонь"

Путь до Сечи.

Когда Григорий надумал, он ничего не сказал Оксане и отцу, а сразу пошёл искать Петра. Нашёл его у Дона, как всегда: сидел тот на берегу и смотрел, как Степан ловко снимает сети с рыбой.

Степан вытащил одну рыбину и показал Петру:

— Что за рыба?

Пётр прищурился:

— Язь.

— Верно, язь, — Степан достал из сети вторую. — А это?

Пётр замялся, ответил неуверенно:

— Краснопёрка?

Степан усмехнулся, покачал головой:

— Эх ты, рыбак! Краснопёрка плоская, а это круглый голавль.

Гриша подобрался сзади и гаркнул:

— Пётр! Айда за мной, скорее, пока не передумал.

Ермаков пошёл за Григорием, а тот привёл его к Савве.

— Поеду я, — говорил Гриша по дороге. — Савва уж десять лет ходит, и я пойду. А ты ещё хочешь?

— Хочу! — уверенно заявил Пётр.

— Тогда пойдём к нему. Мне-то всё равно, я не боюсь. Ехать придётся долго, жарко, степь большая, и где-то недобрый татарин поджидает. И прям таки не боишься?

Пётр вздохнул и промолчал. По правде, Григорий не хотел брать Петра с собой на Низ, и втайне надеялся, что тот сам отступится. Потому и говорил нарочно твёрдо, даже с вызовом, ожидая, что Пётр струсит, засомневается, пойдёт на попятный. А Пётр, кажись, испугался, даже шаг замедлил, но не отступил.

Савва стоял у старой, косо́й берёзы, которую за много лет погнули сильные ветра. По рождению он всегда был Шелудякой, а на Сечи взял себе новое имя — Савва Чуб. Изба Шелудяков стояла у самого тына, была приземистая, бревенчатая, вросла в землю на два венца. Вход через низкое крыльцо. Дверь тяжёлая, дубовая, на кованых петлях.

— А, Грицько, — встретил Чуб их улыбкой.

— Уговорил, — сказал Григорий Савве. — Поеду с тобой, и он тоже хочет.

Савва взглянул на них с хитрой улыбкой. Пётр распрямился, но Григорий видел, как подрагивало его тело. Быть может, Савва его испугает своим видом?

— Ермаков? — усмехнулся Савва, признав парня.

— Ага, — неловко ответил Пётр.

— А саблю держал в руках хоть раз?

Пётр помотал головой.

— Научим.

И оставшиеся до отъезда дни Пётр уже не бегал к Прасковье, а ходил с Гришей к Савве — учился у Чуба владеть саблей, и, надо сказать, делал это весьма недурно. Григорий же обращался с клинком умело, изредка давал Петру советы, но больше помалкивал. Оксане он так ничего и не сказал — ни ей, ни отцу с дедом, ни Степану; и Пете строго велел молчать. Да только у Петра была Прасковья.

Она своим девичьим чутьём сразу почуяла неладное — Пётр совсем перестал к ней ходить. Один раз удалось ей его перехватить и расспросить, а Петя сдуру возьми, да и выложи

всё как есть. Разозлилась Прасковья так, что расплакалась, убежала прочь, но перед тем больно отхлестала Петра по щекам.

— Ты же обещался молчать, — напомнил ему Гриша, увидев его побитые, красные щёки и мокрые глаза.

Ермаков лишь виновато потупился. А Оксана не заставила себя долго ждать — тоже явилась к Григорию злая, в слезах. Он и сам хотел объясниться с ней, но всё откладывал — не хватало духу. Решил ехать на Низ, а начать разговор с любимой так и не решился. А тут она сама пришла.

Вечер накануне отъезда выдался тихий, тёплый. Над рекой висел тонкий туман. Григорий стоял с Оксаной в тени старой вербы. Разговор был негромкий, но тяжёлый.

— Опомнись, Гришенька, — говорила Оксана, и голос её дрожал. — Мы сами всё сотнику вернём. Не нужно тебе уезжать.

— Нужно. Или я, по-твоему, не мужик? — Григорий держал её за руки. — Савва знает, что делает. Он на Сечи десять лет. Я с ним не пропаду.

— А если пропадёшь? — Оксана подняла на него взгляд. — Что ж я тут одна делать стану?

— Не пропаду.

Оксана умолкла, будто поняла, что не отговорит.

В этот миг за её спиной показался Савва. Он шёл неспешно, внакидку на плечах — кожух, на поясе — сабля, и даже в сумерках выглядел так, будто уже был в пути. Увидев пару, Савва хмыкнул, но подошёл ближе.

— Не помешал? — спросил он без особого смущения.

Оксана быстро вцепилась Грише в руку, словно он мог уйти от неё прямо сейчас.

— Нет.

— Ну, будем знакомы, — Савва кивнул Оксане, глянул на их сплетённые руки и усмехнулся. — Добро. Красивая. А она у тебя терпеливая?

Гриша обнял Оксану, прижал к себе, и она уткнулась лицом в его плечо, но уже не плакала. Савва отвернулся. Она снова хотела возразить против поездки, но Григорий, упрямый, как всегда, опередил её:

— Поеду, и всё.

Потеряв последнюю надежду, Оксана взглянула на Чуба так, будто это он был причиной всех её бед, и, не сказав Григорию ни слова, быстро ушла. Обиделась, кажется. Грише и самому было обидно — только перед ней. И стыдно, что раньше не узнал про долг, не подсобил.

— Хорошая девчушка. Главное, чтоб и правда ждала. А то приедем — а она уж с другим, — сказал Савва.

Григорий не ответил.

Из-за Петра пришлось выезжать раньше, чем планировали. Анисья от Прасковьи всё прознала, крик подняла такой, что Гриша думал — она сама забьёт Петра первой, чем татарин в степи. Хотела запереть его, да Петя, как потом рассказывал, гаркнул на мать, оседлал Вербу и ускакал прочь.

— Душно мне от них от всех, — жаловался он перед отъездом Григорию, а потом загрустил. — Прасковью только жалко, но я к ней вернусь.

Утром все трое отъезжали от Шелудяков. Родня Саввы, уже привычная к его походам, провожала его молча и сухо. Отец Гриши, как сам узнал, одобрил то дело, снабдил всем необходимым и отдал свою саблю.

— Коли сам надумал ехать, — говорил Мирон, — то это ладно. Оно и полезно тебе будет. Хорошо, Гриня, что матери не знаешь. А то б мокроты навела она столько... И с Оксаной своей подолгу не прощайся.

А мать Гриши умерла ещё в поле, в родах, и мальчишку вынянчила бабка, которая пару годов назад отошла в старости, и дед Ермолай остался один, да отец. Так и жили втроём, три мужика. «Может, оно и к лучшему, что материнской ласки не знаю я», — думал Григорий.

Оксана всё же пришла. Стояла у косого плетня, бледная, сжав руки на груди. Григорий подошёл, взял её за плечи, коротко прижался губами ко лбу.

— Жди, Оксана, — сказал он и отстранился, не глядя в глаза, потому что знал: если задержится ещё на миг — останется.

Она молчала и только смотрела вслед, и от этого взгляда у Григория каменела спина. Он вскочил на Вороного, боясь обернуться. Городок потихоньку исчезал — наверное, уже остались вдали только крыши и печные трубы.

Ехали медленно. Степь кругом, ни одного деревца, даже самого хиленького. Гриша сгорбился, опустил голову, глядя на чёрную гриву своего коня, и думы его были об Оксане. Как же он не обернулся посмотреть на неё? Нет, прав был отец, подолгу прощаться нельзя. Сердце даже у самых храбрых, прожжённых годами и битвами казаков щемит от прощаний.

Пётр ехал рядом на своей рыжей кобыле Вербе, тоже хмур, что туча. Его мамка тихо явилась проститься, и сёстры, а Прасковья не пришла. Когда Пётр вскочил в седло, Анисья бросилась к его кобыле под копыта, ухватила за узду и верещала нечеловечьим голосом: «Не пущу!». Утащил старший Шелудяка её в хату так быстро, что Пётр даже опомниться не успел, но Гриша видел, как блестели его голубые глаза.

Остановились отобедать позже, дать лошадям отдохнуть. Кони выискивали губами среди жёлтой старой травы молодые сочные побеги. Все трое сели на землю, достали хлеб, сало, немного соли. Пётр держался рядом с Григорием, как всегда. Савва не переставал травить байки, потом отошёл к лошадям.

— Сколько дней пути до Сечи-то? — спросил Пётр с набитым ртом, чуть не поперхнувшись.

— Недели две или три, — рассудил Гриша. — Ешь хорошо, а то с седла упадёшь.

— Да ну, — Пётр махнул рукой. — Жаль, по Степану скучаю. И по Прасковье. Она мне по щекам надавала, больно было.

— Думаешь, воротимся?

— А как же. Ты Оксане обещал, я тоже к Прасковье хочу. Разве можно не воротиться?

Григорий снова вспомнил, как скупно попрощался с любимой. Стало совестно.

— Хотел бы я, чтоб Иван был с нами, — сказал вдруг он, и в памяти всплыла их встреча. Гриша нашёл Ивана во дворе у сотника — тот сидел на ступенях террасы, строгал ножом какую-то деревяшку, и даже глаз не поднял, когда друг окликнул. Гриша спросил, не поедет ли с ним, а Иван ответил: Швайки на Низ не ходят.

— Швайка, — процедил Пётр сквозь зубы. — Оскотинился он в последнее время. А каким славным был, помнишь?

Пётр стряхнул с груди хлебные крошки и развалился на траве, заложив руки за голову и морщась от яркого солнца.

Вскоре отправились дальше. Григорий молчал, а Пётр от разговора чуть повеселел — вертелся, трепал свою рыжую кобылу Вербу по загривку и приговаривал, что ни у одного татарина или даже казака не будет такой чудной лошадки, как его Вербушка. То была кобыла светло-рыжая, с белой полосой ото лба до розоватого носа. Пётр любил её даже крепче, чем Гриша мог любить своего Вороного или Иван — своего быстрого крапчатого Серко.

Ехали снова долго, и только теперь Григорий раз за разом оборачивался — но не было за ним ни Швайкиного городка, ни любимой Оксаны. Лишь дикая степь.

На ночлеге разводили костёр, варили кашу с салом. Савва учил, как выбирать хорошее место, чтобы не наткнуться на врагов. Спали под открытым небом, в траве, расстелив под собой одежду, коней пускали стреноженных пастись. Пётр долго не мог заснуть, лежал на спине,

глядел на звёздное небо и всё болтал, а у Григория глаза слипались от усталости. Когда Пётр завёл историю про их городок, который уже был покинут, Григорий не сдержался:

— Молчать ты умеешь, Пётр? Спи, не то отправлю тебя обратно к матери.

И Пётр умолк. Григорий не видел по его лицу, обиделся ли парень на слова его, потому что тот отвернулся и вскоре захрапел под писк комаров и стрекот сверчков.

Так продолжался их путь день, потом другой — вот уже и неделя миновала. Шли медленно, давая коням передышку. По дороге к ним пристало ещё несколько вольных казаков, державших путь туда же, куда и они. С ними толковал Савва, а Григорий с Петром лишь считали про себя дни.

— Едем, едем... а кругом ничегошеньки. Ни стежки, ни человека, — размышлял вслух Пётр.

Савва, не оборачиваясь, ответил:

— Погодь, отрок. Скоро будет тебе и стежка, и человек. Я тут чумацкий шлях заприметил.

— Чего? — переспросил Григорий.

— Дорога, — отозвался Чуб. — Колея от возов.

Савва придержал коня, давая товарищам поравняться.

— Чумацкий шлях — это дорога, по которой чумаки соль возят. Солевозы. Быть может, к ним и пристанем. Недолго осталось.

После и взаправду повстречали чумацкий обоз с волами и потянулись следом за нетопливой вереницей.

Одним вечером Пётр, как и думал Гриша, заплакал:

— По мамке тоскую, по сёстрам, по дому родному. Обидел я и Праскою... — тихо причитал он, и из светлых глаз его неудержимо катились слёзы.

Григорий глядел на него прямо, сурово, будто пытался одним взглядом своих чёрных глаз пристыдить. На душе у него самого скребли кошки, не хватало только этой сырости и Петрова плача.

— Уймись, Пётр. Взаправду отправлю домой одного.

— Мы теперь далече. Назад не повернёшь, — вырвавшиеся слова лишь сильнее расстроили Григория.

Ночью он слышал, как тихо плакал и по-щенячьи завывал Пётр, зажимая рот ладонью, чтобы никого не разбудить. Дрожал он крупной дрожью, точно от лютого холода, и тревожил одного только Гришу, подле которого лежал. А Гриша на это лишь отворачивался — чтобы не видеть, не рвать себе и без того больное нутро.

Пошла вторая неделя их пути. Утром Пётр проснулся раньше Григория, хотя все предыдущие дни его было почти не добудиться: ночью плакал, ложился поздно, а утром рано встать никак не мог. А тут Григорий застал его улыбающимся, как и раньше.

— Представляешь, Гриня, — начал Пётр, потягиваясь, — мне снился наш Дон-батюшка. Так разлился он, солнце в его водах блестит..., и я в нём плаваю. Не ноги мочу, как бывало, а плыву куда-то далече.

Григорий усмехнулся его словам:

— И что же, хорошо тебе в воде было?

— Да ну тебя. Я ж никогда и не плавал. Но во сне всё было, как наяву, никакого страха тебе, ничего, только вода со всех сторон. И чувствовал ещё, что рубашка вся мокрая, — он замолчал, что-то обдумывая. — А может ну его, страх этот глупый? Научишь меня плавать? Хочу в Днепр зайти.

— И потонуть уже не побоишься? — Григорий вспомнил, как и сам зимой чуть не утонул.

— Не побоюсь. Честное слово, не побоюсь, Гриня!

— Вот это верно. Пора уже становиться казаком, а не слушать страшные истории от мамки своей. До Сечи уж пара дней осталась.

В следующую ночь на привале Пётр уснул одним из первых, расстелившись поближе к Григорию, и мирно посапывал. Не плакал. Григорий тоже уснул почти сразу, едва закрыл глаза, и увидел во сне не Дон, как Петру, а свою Оксану. Она стояла всё там же, в их вишнёвом саду, где пообещалась его дожидаться. «Обязательно вернусь, Оксанушка. И моей женой станешь», — сказал он ей во сне, хотя самого себя там не видел.

Кто-то осторожно тронул его за плечо. Григорий вздрогнул и увидел перед собой лицо Петра. Тот приложил палец к губам, призывая молчать. Костёр почти догорел. В ночной тишине протяжно заржала Вербка.

— Слышь, Гриня? — прошептал Пётр. — Вербка ржёт.

— И чего?

— Слушай.

Григорий затих, вслушиваясь: сквозь стрекот насекомых и мужской храп пробивалось что-то ещё. Шуршала трава, нервничала Вербка где-то рядом, а потом он различил чужие голоса и шёпот на чужом языке.

— А ну подымайся, — тихо сказал Пётр.

Они вдвоём, пока все спали, тихонько подползли к обозу, обогнули его, различая голоса всё отчётливее. Припали к высокой траве и чуть высунули головы, разбирая, что там происходит. Три татарина тайком вынюхивали, что бы ценного унести с обоза. В темноте Григорий различил большое рыжее пятно, которое, когда глаз привык, оказалось Вербкой. Один татарин разрезал ей путы, заглянул в зубы. Рядом щипали траву Вороной и ещё пара казачьих лошадей. Вербка, словно почуяв рядом хозяина, снова заржала, и татарин выругался на неё по-своему.

— Коней уведут! — шепнул Пётр и вдруг сорвался с места, выхватил саблю, закричал. — Бей, рубай! Татарва!

— Пётр! — Григорий не успел удержать товарища, а вокруг уже вскакивали спросонья казаки.

В ночной темноте не разобрать, кто свой, а кто чужой. Гриша выхватил саблю, метнулся к обозу, приметив, как Пётр ловко рубанул татарина по руке, и замахнулся сам. Его клинок налетел на вражескую саблю — лязгнул раз, другой, третий. Привязанные кони заметались. Когда сталь встретилась в четвёртый раз, Грицько пнул татарина от себя и заколол.

— Гриня, сзади! — Пётр взмахнул шашкой по воздуху, но чужая сабля прошла ему живот. Он рухнул навзничь.

Грицько бросился к нему, однако сзади внезапно обожгло плечо, и под рукавом стало тепло от крови. Он развернулся волчком, ударил татарина и едва не упал: налетели другие казаки, при оружии. Враг побежал.

— Пётр! — Гриша вмиг шагнул к другу, прижимая ладонь к его ране, хоть собственное плечо горело от боли.

— Вот тебе и раз, Гриня... — прошептал Пётр, глядя куда-то в пустоту ночного неба, с которого исчезли звёзды.

Казаки столпились над раненым, галдя наперебой. Из сей ватаги вышел Савва, растолкал зевак.

— А ну, разошлись живо! — опустился перед Петром на корточки, разбирая в темноте окровавленную рану.

Пётр дышал, что загнанный конь.

— До Сечи доведём его? — тихо спросил Григорий.

— Доведём, крепкий казак, — Савва похлопал Пётра по щекам. — Эй, не спи. Тряпья дайте сюды, перевязать его надо, — он посмотрел на Грицько, на плече которого обагрилась серая ткань. — И тебя перевязать надо. Давайте живей, волокушу надо, выдвигаться будем!

Гриша и другие отдали части своей одежды, с Пётр сняли рубаху, перевязали рану тем, что нашли, как и рану самого Грицько. Чумацкий обоз решили оставить и добираться своим ходом. Повод от узды рыжей Вербы Грицько привязал к луке своего Вороного.

— Сдурел? — спросил Савва. — Не можно! На коне поезжай, плечо береги.

— Нормально мне и так, — отвечал Гриша, намереваясь идти рядом с Петром.

Собрались затемно. Петра уложили на волокушу, поперёк натянули рядом, набросали сухого сена и бурьяну, чтоб мягче было. Двое верховых ехали по бокам, третий вёл волокушу в поводу. Григорий шёл пешком, держа Вороного под уздцы, и разговаривал с Петром, не давая тому сомкнуть глаз. У самого рассечённое плечо при каждом шаге болело страшно, до звёздочек в глазах. «Вот-вот и слягу прямо здесь, — думал про себя Гриша, когда его стало шатать на слабых ногах. — Нет, надо дойти». Шли старым чумацким шляхом, огибая глубокие балки, останавливаясь на водопой у степных криниц. К вечеру раскладывали костёр в низине, грели в котелке тююнный взвар с мятой, меняли повязки. И не вестъ, на какие сутки к утру завидели дымы над Сечью. Тяжёлой оказалась переправа через Днепр. Утомлённые дорогой казаки и лошади еле волочили ноги. Грицько всё страшился за Петра, что он может сгинуть в страшных речных водах по неосторожности, но всё обошлось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.